ОЗОРНЫЕ БАРЫШНИ

I

Как войска-то разинские разгромили, князь московский Юрий Долгорукий и повелел:

– Разбросать надобно повстанцев по миру. Кого в Сибирь, кого на Урал, а кого и по центру к поселению привязать.

Зол был Долгорукий. А то как же – сколько ему пришлось с отрядами Степана Разина повозиться. Почитай, из засушливой Астрахани пешим строем, на ладьях по Волге до самой первопрестольной с разбоями да казнями добрались. Спуску никому не давали. Одно твердили: замучили крепостники простой народ, можно было кожу содрать – содрали бы. Без гроша, без полушки люди жили, только трудились и трудились. Мужики в тридцать лет на стариков походили, а бабы, казалось, никогда и молодыми не были.

Вот и поднялся народ донской. С вилами, косами, пищалями, у кого они хранились, пошли все войной за Разиным. За таким же, донским казаком, только упрямым и настырным.

– Доколе, – вопрошал он по станицам да куреням, – нам в неволе на родной земле жить? Али мы другого счастья не заслужили? Всю жизнь и мы, и предки наши пределы российские охраняем, хлеб растим, а сыты не бываем. Посмотрите на детей своих – краше в гроб кладут. Неужто и дальше так жить будем?

Жить так дальше казаки донские не хотели, вот и собрались в войско, вот и отправились на Москву правду добывать.

Да разве дойдут? За правдой-то многие в путь отправлялись, только назад с ней не возвращались. Поищут, поищут, да и пропадут навечно.

Почти к Москве разинцы добрались – в нижегородских землях воюют. Тут царица Екатерина и позвала к себе князя Долгорукова.

– Приказываю тебе не мешкать, а изничтожить проказников воровских. Ишь что надумали: мое царство-государство порушить, мужицкую власть на престол царственный возвести.

Юрий Долгорукий быстрехонько так в наши земли войско обученное да крепко вооруженное привел. Уж злобствовал, уж тешился, а разинские отряды, расколовшись на большие и малые группы, спуску не давали. Одна монахиня Алена, что из арзамасского Николина монастыря сбежала, страху на царское войско нагоняла. Где ее со товарищами не ждали, там она и появлялась. В одном только кадомском сельце Кременки неделю Долгорукова держала, будто телка на привязи. Тот и силу подтянул небывалую, и разведка его по Алениным пятам хаживала, а справиться не могли с Аленой.

На восьмой или девятый день в центре сельца, аккурат возле храма, где две речушки в одну сходились, не выдержали донцы, стрельцы беглые, нижегородцы, что Алене в верности поклялись, и проиграли Долгорукому. Уж что потом было! В реке не водица бежала – кровь алела теплыми еще октябрьскими днями.

Только не справился Долгорукий с Аленой здесь, он ее догнал в мордовской земле – в Темникове, где и повелел, как злодейку и нехристя, в костре пожечь.

Сдержали слово – пожгли.

А вскорости под большое село Вознесенское долгоруковские ратники привели человек двадцать-тридцать пленных. Вчера еще они у Разина воинствовали, а теперь вот связанные по рукам и ногам стоят, участи своей дожидаются. Откуда среди них бабы с малыми дитятками, никто и ведать не ведает. Только жалко вознесенскому народу оборванных и голодных, потому украдкой суют им кто картошку вареную, кто краюху хлеба.

Привели пленных в дремучий лес. Кто из них откуда, только им это ведомо. Руки-ноги развязали и повелели:

– Здесь отныне жить станете. Кланяйтесь матушке-царице, что милость к вам проявила, а то бы качаться вам каждому на сосне, а теперь вот живите.

С тем и укатили набольшие, оставили только реденькую охрану, чтобы не сбежали. А куда бежать, если и справа дремучий лес, и слева, солнышка только и видать, если голову высоко запрокинуть. Качается оно где-то по верхушкам деревьев.

Перво-наперво, решили мужики-разинцы: расчистить дремучий лес надобно, и стали лес валить. Сучки, ветки с деревьев обрубают, в костры валят. Строевую древесину складируют, к новостройкам готовятся.

Костры полыхали не один день. От полохов дым далеко стелился. Измучились люди, но большую поляну подготовили, на ней и решили избы ставить. Один дом подняли, второй, третий. Да ладные такие, о веселых окошках, при приветливых крылечках.

Защебетала жизнь, заиграла, а как чужой ненароком нагрянет – сумрачно становилось. Никто не говорит, не калякает.

Поднялась улица. А где она? Без имени какое поселение живет? Вот и порешили люди все вместе: быть их новому сельцу Полх-Майданом. Да другого-то и не дано. Старое слово славянское «полох» пожар обозначает. Вон сколько деревьев повыкорчевывали и пожгли. Полох и есть. А другое слово «майдан» как раз и обозначает место, что от пожара освобождено. И речка рядом. Ей уж сам бог повелел Полховкой прозываться.

Так, среди леса и появился на свет Полх-Майдан. Прокричит здесь петух утром, на три волости его слышно. С юга – Мордовия. С запада – Рязанская земля, а восточнее – Вознесенское, как есть края Нижегородские.

II

Так ли все было, по-другому ли, теперь трудно сказать. Времени-то сколько прошло: почитай, о семнадцатом веке с вами толкуем. Одно верно:
у людской памяти ум зоркий, не запрячется побасенка по уголкам в сундуке, нет-нет, да и выглянет наружу.

Вот и с Федькой Сидоровым так получилось. Он лесами верст двадцать промахал, а как к Полх-Майдану прибился, молва и поползла от дома к дому: это ведь пособник Аленин, глаза ее и уши.

Хоть и стерегся Федька на первых порах, как в новое сельцо заявился, а потом и хорониться перестал: его же, разинские, друзья-приятели здесь обосновались. Не выдадут. Да каково – за майданцами сразу же слава побежала по округе: пытай не пытай, а язык за зубами здесь живет, хоть у малого, хоть у старого. Не моги голоса подымать, пройдут, словно и не заметят.

А про Федьку тут каждый знал. Знал, как вечерний ветер юлой промчался по пеплу в Темникове и унес за собой прах той, что слыла грозой для царева войска.

– Оленька, – плакал сильный мужик и дрожащими руками собирал пепел кострища. Он шарил по прохладному уже огневику, пытаясь разыскать в головнях соснового сруба хоть крохотную косточку человека, которого любил безумно.

В сражениях побывал, сутками просиживал в дождливой засаде, галопом мчался из одной стороны в другую и приводил в мятежный отряд Алены людей. А вот на костре горела она одна. Он, как пес, стоял в толпе, прячась за мордовские зипуны и юбки, и во все глаза смотрел, как сначала робко, потом вихрясь и злобствуя, огонь обхватывал молодое красивое тело.

Давно разошлись согнанные в единую смотрящую толпу темниковцы, давно пьяно горланили царские ратники, довольные свершенным, а Федька Сидоров все ползал по кострищу и плакал.

Многое видели на своем веку жители Темникова, знали, что живет в округе древний обычай, и его строго-настрого соблюдают, по-своему наказывать сельского вора – выкапывалась глубокая яма и в нее живьем, без слез и сожалений, зарывался тот, кто посягнул на личное добро соседа. А такого, чтобы сжечь женщину на костре… Нет, такого не было. Даже представить не могли, что злодейство произойдет не где-то за тридевять земель, а здесь, в родном тихом селении.

Но произошло, и многие видели это своими глазами, поэтому убыстрялся шаг мужика и бабы, когда проходили мимо зловещего места. А из дома в дом ползли разговоры, что по ночам на пепелище появляется мужская тень и долго вырисовывается на фоне неба.

А потом место казни вновь стало многолюдным. Со всех улиц тянулся сюда народ и подолгу простаивал в молчании: там, где погулял в своем разбойничьем порыве костер, красовалась яркая роза. Цветок красный, как говорили темниковцы, никогда не видевшие подобной красоты. Никто не приносил сюда воды, никто не поливал розу, а она цвела, раскачивалась на ветру и кланялась на все четыре стороны.

Через неделю пробежал другой слух: нет больше цветка на Аленином месте.

Не привыкать Федьке Сидорову кошкой пробираться по лесу, открытому полю, через большие и малые селения – его везде искали ратники. Пряча под полой одежки сорванную розу, направился было в присаровскую деревню, на родину, да остановился: там точно его поджидают.

Приглянулось село в чащобе дремучей, оно крайней улицей уходит к маленькой речке. У воды Федька остановился, омыл разгоряченное лицо: «Остановлюсь здесь».

Так в вознесенской стороне, в Полх-Майдане, появился человек-молчун. Он поселился сначала в землянке, потом соседи помогли махонький дом поставить, и повел одинокую жизнь. Соседи все пытались заговаривать с ним, но натыкались на молчание и переводили разговоры на погоду, сенокосы.

Времени-то с той поры немало прошло. Заприметили в Полх-Майдане, как подолгу Федька пропадал, а потом видели, как шел мужик из леса и нес на себе липу: не лыко на лапти, как все, – само дерево, очищенное от мягкой коры.

А потом и вовсе чудеса сотворились, когда на завалинке домика молчуна вдруг затеснились вырезанные из липы игрушки, разукрашенные ярко-желтой краской, а по ним бежал один и тот же красный цветок, названия которому никто не знал.

Мужики дивовались и осуждали молчуна, а потом, уходя в лес за лыком, несли оттуда на плечах липу. И во всех домах появлялись солонки, ложки, небольшие лошадки, коляски, матрешки. По ним по желтому бежали красные розы.

III

Никитка Авдюков сызмальства был любопытный. Да нет, никогда и ни за кем он не подглядывал. Почто такое? Просто родился в крестьянской бытности, в семье большой и ладной. Крепкой семье, как говорили в Полх-Майдане.

С раннего детства перед ним красовалась одна работа: и родители, и старшие братья-сестры без дела не сидели. Вот за ними и подсматривал Никитка, путался под ногами, а когда все произошло – никто из взрослых не заметил: в руках мальчугана и топор играет, и коса среди молочая поет, и самовар, ухватив за уголья, пузырится и радуется. На все руки дока. Вот тебе и любопытство!

Отец его, Ефрем, помнил прадеда, а тот рассказывал о своих родственниках, как они вместе с Федькой Сидоровым ложки деревянные выстругивали. Сначала из ели попробовали, ее в этих краях невидимо, потом березу попытали, только она зубастой оказалась: руки напрочь сотрешь, прежде чем из полена заготовку выпилишь. Да как-то к липе подобрались. Вот уж по всем статьям она подошлась – мягкая, податливая, будто сама бока подставляет. Не увидишь, как белье готовым становится. Суши да отдавай бабам на раскраску.

Никитка как родился, так и рос в липовых стружках. Пропах весь лесом.

– Ты, мать, гляди-ка, настоящий турурушник растет, – посмеивался отец.

– Руки бы себе не порезал, а так что же, хозяйственным вырастет, – выбирала стружки из льняных волос сына мать.

Да на самом деле так. Иной человек растет, растет, а вырастает без рук. Нет, они на месте, руки-то, только за что ни возьмется, все криво да косо. Гвоздь, и тот не вобьет в доску. А Никитка не такой: коренастенький, крепенький, а уж руки просто золотые. Это кто по его пору стамеской липовую палочку затачивать возьмется, а из нее куличок получается. Головка кругленькая, крылышки сложеные, клювик весело так к небушку приподнялся. То и гляди хвостом заиграет. А как старшая сестра кисточкой по белью погуляет, и вовсе птаха запоет.

По вечерам с отцом усядется и глаз не сводит, как ловко орудуют отцовские руки над липовой заготовкой. Раз, другой острым ножом отец по липе пробежит, вот тебе и брюшко. Еще чуть-чуть поиграет над деревяшкой, и голова, шея появляются. Вроде на бабу заготовка белая похожа, да только не баба вовсе. Так это девка молодая.

Сестры наждачкой поиграют, на край стола поставят и давай краску готовить. Кто кирпич красный толчет, кто голубую глину размешивает, кто сажи из печи достает. Смешают все, разведут, конскую кисточку в руки возьмут. Один мазок, второй, третий. В сарафан цветной куклу деревянную оденут, платок на голову повяжут. Губки алые с румянцами наведут, носик курносый к небушку подымут, чиркнут кисточкой, и прикроет красавица лукавые очи искристыми ресницами.

А еще макнут в краску алую кисточку, и бегут по всему сарафану цветы красные. Как к одной барышне другая прибавится, к ним третья, четвертая, так целый девичий хоровод на столе играется. И нет ни одной красавицы, похожей друг на дружку. Взглянуть бегло: все одинаковые, ан нет. Одна долу смотрит, глаз не поднимает, будто смущается. Другая брови дугой изогнула, смотрите, мол, какая я видная, не чета подружкам, а третья и вовсе во все зубы улыбается, только румянцы на щеках играют. Вот-вот заговорят, запоют, засмеются заливисто. Ну, озорницы, одним словом.

Так и год проходит, пятый. Вырос Никитка, заженишился, и надо же такому случиться, что пришел на Русь войной Наполеон французский. К самой Москве подобрался. Сколько земель наших погубил, народу положил.

Никитку Авдюкова и забрали в солдаты. Было это в тысяча восемьсот двенадцатом году.

Убивалась мать, провожая на войну сына:

– Не свидимся с тобой больше, кровинушка моя. Не дождусь тебя.

– Брось ты, маманя, угомонись. Как это так: я свою сердечную красавицу и не увижу. Да не бывать такому.

Вернулся, как есть возвернулся в свой Полх-Майдан. Да чудно так воротился – принес с собой штуку замысловатую, ее с первого-то взгляда и не поймешь: то ли для дела какого, то ли для игрушки. А какие тут игрушки – ушел Никитка на войну парнем-молодцем, а домой пришел мужиком седовласым.

– Это что же за диковинка у тебя такая? – приставали к нему большие и малые. – Неужто для дела все эти загогулины? Телега не телега, жернова не жернова.

А Никита Ефремович, так теперь к нему старики обратились, только в усы посмеивается.

– Темнота, скажу вам, как есть дремучесть. Это то-кар-ный ста-нок, – нараспев так отвечает. – Увидите вот, какой он пользительный.

IV

Сам-то Никитка помалкивает, как в иноземном краю этот токарный станок присмотрел. Французов тогда отогнали и остановились на постой в небольшой деревушке – то ли польской, то ли немецкой. Поди разбери, где ты, если все балакают не по-нашему.

Как так получилось, только Никитку на постой определили в крайний дом. Там-то он и учуял сразу дерево, вернее, деревянную стружку, и давай с расспросами приставать. Ничегошеньки не понимает хозяин ненашенский, а видит: не простой этот русский, коли так искусно на руках показывает, как надо дерево точить. Да и повел его в мастерскую. Да и давай показывать чашки-ложки выточенные. Да и давай кусок дерева пристраивать между чудных колес – одно большое, другое поменьше.

Крутит большое, а маленькое в догонялки наяривает, а между ними деревяшка такую скорость набирает, что поднеси к ней острый ножик – в струнку превратиться.

Целую ночь в мастерской пробыли, а как утром сигнал на сборы прокричал, в строй солдатский и стал Никитка, и ружье здесь, и скатка, и к левому плечу два колеса пристроены.

Старший-то над ними изумился сначала, уж ругаться хотел, наказывать Никитку, а как тот все порассказал, заулыбался:

– Что же, али мы не свои? Поможем, коли тяжело будет, лишь бы нашей русской красоте потрафить.

Потрафили, еще как потрафили. Собирает токарный станок Никита Авдюков, а возле него весь Полх-Майдан столбняком стоит.

Недолго парень возился, а как колеса закружились, и пошла стружка в разные стороны. Глазом не успели моргнуть, как скалка появилась. Белая, ровная, гладкая. Подноси кисточку и раскрашивай. Одна беда: ремень, что приводит в движение колеса, быстро так брюхо опустил, и остановилась работа.

– Вот и в чужедальней стороне такая же картина, – загрустил Никитка. – Часто ремень менять приходится.

– Да разве такие веретена такой ремешок выдержит, – кашлянул в кулак Егор Масягин. – Вы постойте-ка чуток.

Скрылся Егор в проеме дверном, а потом вновь появился. Поглядели мужики на него да и давай смеяться:

– Смотри, что принес. Кишку овечью!

А Егор и не слышит насмешек. С Никиткой кишку эту самую к колесам пристраивает, а как все аккуратно сделали, завертелись колеса. И час крутятся, и другой, только стружка летит, только белые чушки вылетают из-под станка токарного. Целую гору наточили, теперь только за кисточкой дело.

– Я, мужики, на войне-то Отечественной слышал, как сам император Петр Великий дерево точил. Искусный мастер, говорят, был. Уж царь смог, а мужику и подавно на роду написано.

Думать-то было нечего. Лес кругом. Травы полно для скота домашнего, а вот рожь-пшеница совсем не родились. Куда ни глянь, везде сущий песок. Что на нем вырастишь? Силы изведешь, время даром потеряешь, а толку никакого.

Чем заниматься, чтобы прокормиться, детей поднять, себя попусту не растерять? Да вот же оно, дело-то: не ленись только, игрушку точи, утварь домашнюю, украшай ее. Да и свобода дадена – никто над полх-майданцами в начальниках не стоял. Ни одного барина не было. Никому не подчинялись, а законы блюли.

Рядом совсем, в сельце Криуши, что помещик вытворял. Красивому парню в жены кривоглазую девку засватывал, а красной девке – парня уродливого да негодного. Молчали. Погорюют, погорюют, а не перечили. В Полх-Майдане такого не было, все знали, какого рода-племени здесь народ.

Так вот и зажили здесь, на речке Полховке. Деревом зажили, липой. Матрешкой да ложкой, коньком-горбунком да чашкой расписной. Не заметно, а матрешка далеко от Полх-Майдана шагнула, аж до заморских стран-государств добралась.

Ай да Никитка Авдюков! Как помог народу: и Наполеона французского из России выгнал, и станок токарный домой принес. А это, кто знает да понимает, народу страсть какая хорошая помощь.

V

Времени после этого не так уж и много прошло, да такое в майданском лесу произошло, что все враз о Никитке забыли. Нет, не навсегда, конечно. А дело было так.

Аккурат посредине улицы стоял дом Игната Гонюкова. Добротный дом, а уж шумный, и говорить об этом нечего. Куда ни глянь – по табуреткам, по лавкам одни ребячьи головы торчат. Которые постарше, которые совсем малые. Да при такой ораве какие дела могут быть, тут только успевай приглядывать, на бесконечные вопросы отвечать да на стол щи, кашу подавать.

Что тут делать? Вот и придумал Игнат: ну-ка, пусть каждый по куколке делает. Нет, не деревянной – тряпичной. Малышня маленькие куклы мастерит, а кто постарше – побольше.

Полюбилось занятие ребятишкам, а как руку набили, Игнат и говорит за вечерним самоваром:

– Завтра липку вам дам, попробуйте-ка свои тряпичные куклы в деревянные превратить.

Спать не спали дети, все утра дожидались, а как только солнышко из-за горизонта выползло, все, как горох, из своих постелей повысыпали.

– Тять, ты чего же не встаешь?

Усмехается Игнат, утреннюю дрему сгоняет. А как встал, так и пошел наставлять да учить, как липовую кору очистить, как ладно да гладко деревяшку очистить, как в руки ножик взять и к резьбе приготовиться. Старшим наказывает за младшими смотреть, а младшим – старших слушаться.

Уселись все, пыхтят, стараются. На материнский призыв к пирогам усесться не откликаются. И пошло дело. Кто помоложе, тот маленькие матрешки вырезает, кто постарше – те большие. И все получаются разные по размеру: малюсенькие, чуть побольше, еще больше, а одна и вовсе большая.

Игнат у каждой середину вырезал, обработал, и получилась каждая матрешка внутри полая.

– Эт ты к чему, батюшка? – пристают ребятишки.

– Какие вы, право, нетерпеливые. Вот вам краски, кисточки, а ну-ка всем красоту белому дереву наводить.

Уселась малышня, пыхтит, потом обливается, а дело делается. Вот уж платьица готовы, и лицо из-под полушалка выглянуло, и алые губки в приветливой улыбке расцвели.

– Как есть наша семья, – кричит старшая дочка, – смотрите-ка, все матрешки на нас похожи.

Не один день так-то прошел, работа трудоемкая, краска тоже времени требует. А как куколки обсохли, взял Игнат большую матрешку, в нее поменьше вставил, а в эту – еще поменьше, и так до самой махонькой.

Тут и побежала молва по Майдану:

– Игнат Гонюков брюхатую матрешку сделал.

Да что ведь любопытным? Они к дому Гонюкова побежали, а тот уж стул в патрон забивает. Стулом липовая чушка называется, а патрон – приспособление на станке. Рядом ребятишки стоят, заготовки ждут, чтобы взять сразу да за дело приняться.

– Ты что же, Игнат, нам свое чудо не явишь. Уважь, покажи, что ты с матрешкой наделал.

Отложил дела Игнат, в дом пошел, а потом прямо здесь, на завалинке, большущую матрешку поставил. Повинтил ее и открыл. Достает матрешку поменьше. А вслед за этим еще меньше и еще, и еще, а последняя и совсем птаха еле видимая. В рядок поставил, у мужиков рты пораскрывались.

– Ишь ты, занимателка какая вышла. Вот тебе и брюхатая! Да тут целый девичий хоровод получился.

С тех пор и пошла по свету гулять необыкновенная полх-майданская матрешка. В руки берешь одну красавицу, а в ней целое семейство. Потом уж все поняли: каких только в нижегородских землях деревянных диковин на свет ни рождали, а таких, как в Полх-Майдане, нигде не было – ни в Семенове, ни в Городце, ни в Богородске. Вот ведь какую штуковину Игнат Гонюков со своими детками на божий свет явил.

VI

По белому свету полх-майданская игрушка быстро разлетелась. Уж так это было, по-другому ли, за давностью лет и не припомнить, только собрался однажды Игнат Грачев в дорогу.

– Куда ты, заполошный? – плакала жена.– Не ближний свет Уральские-то горы, ты думаешь, там твои деревяшки нужны. Там своего добра навалом – малахит да золото, а ты с матрешками.

– Наша матрешка почище злата-серебра, – не слушает ее Игнат, а большущие торбы деревянной красотой набивает. – Чем причитать, Павлушку бы разбудила.

– А Павлушка тебе почто?

– С ним в путь отправимся. Какая-никакая, а все подмога.

– Да этой подмоге десятый год пошел! Одумайся. Такую тягу на себе таскать.

– Чай, ты не вчерась родилась, будто не знаешь: Россия всегда горбом живет. Как потопаешь, так и полопаешь.

А жена все за свое:

– Сам-то как хочешь, только парня за собой не таскай.

Понимала, что напрасно слезы роняет: скажет Игнат, словно отрежет. Делать нечего, подняла с утренней постели Павлушку.

А тот рад-радехонек. Эко ему счастья привалило – за тридевять земель отправится. Сказка – не сказка, быль настоящая.

Снаряжается Павлушка, отца выспрашивает:

– Эт каким же путем мы с тобой до гор доберемся?

– До Мурома-града сначала, там на Сибирку сядем, глядишь, за два дня до Уральских гор и доскачем.

Про Сибирку Павлушка уже слышал, это железная дорога так прозывается. Будто в Москве она начинается, а заканчивается бог весть где. И бегают по ней паровозы с вагонами.

Так оно и случилось. В теплушке, куда Павлушка с отцом забрались, окно было. Все два дня малец от него не отходил. Все интересно – и бегущие рядом деревья, и коровьи стада, что прямо у дороги пасутся, но больше всего по нраву, как дорога выскользнула и потащила вагоны через реку. А ей конца и края не видать.

– Волга это, – объясняют Павлушке.

– Так вот ты какая, Волга-река. Слышать-то я о тебе слышал, вон сколько песен поется, а видеть не приходилось.

В мешках матрешки, солонки, сахарницы. А с ними шкатулки, пасхальные яйца, волчки, свистки. Тут и самовары с чайничками и чашками. Под стук колес подпрыгивают, охают. Пестрые, расписные, розаны наведены черной тушью, землянички украшены белой крапинкой. Едут матрешки, толкаются, Павлушке напоминают: «Тут мы, береги». Какое там – не сводит глаз Павлушка с Волги.

А когда река за горизонтом скрылась, скучно сделалось Павлушке. Подремал, подремал да и заснул. Уральских гор из вагонного окошка так и не увидел.

Отец разбудил в Екатеринбурге-городе.

– Большущий, – промолвил на перроне Павлушка.

– Большущий, да больно бестолковый, – поправляет мешки отец. – Отправимся мы с тобой в Тагил. Мне сказали, что только там нашу красоту оценят.

Усадил Павлушку на мешки, а сам убежал. Это он подводы искал, надеялся, может, обоз какой в нужную сторону направится. Сыскал.

Тронулся обоз. На дрогах узлы, рядом с ними Павлушка. Смотрит по сторонам, озирается. И слева гора, и справа гора, а за ними другие встают, которые пониже, которые повыше.

– Тять, лучше у нас. У нас солнышка сколько, а тут света не видно.

Не понравился Павлушке Урал, а вот от Тагила восторгу столько набрался, прибыл домой – рассказы только о Волге да о Тагиле.

Чем приглянулся этот мрачный попервоначалу городок? Улицами с деревянными домами, да у каждого – наличники в завитушках, и такая здесь краска голубая яркая, будто весеннее небушко на землю опустилось.

– Вот, я что говорил, – молвит отец, – среди такой красоты и нашу деревянную игрушку оценят.

Оценили. В день разобрали матрешки, солонки, сахарницы, шкатулки, пасхальные яйца, волчки, свистки, самовары с чайничками и чашками.

С деньгами Грачевы, отец с сыном, домой возвернулись. И пошло с того дня, и поехало. В Иерусалиме паломники матрешку полх-майданскую покупали да по разным странам увозили. В Турции на базарах матрешки яркие продавались, а уж про Россию и говорить нечего – до самой Чукотки яркая барышня добралась. И везде ей были честь и место.

А как по-другому? Народ в вознесенской стороне еще тот народец, для него преград сроду-то не было. Да вот ведь еще что: возле красоты другая красота сотворяется. Сидит баба в избе, красками белую куклу обряжает, а сама и не замечает, как поет:

Ой, заблестела шашка во правой руке-е-е.

Ой, слетела голо-о-овка с неверной жане.

Оттуда, из разинских времен песня прилетела и прижилась здесь, в центре России.

Сидит баба и не замечает, как слова в незамысловатые частушки собираются.

Я у Коли в колидоре

калбуками топыла!

Я Колюшу не любила,

а конфетки лопыла!

А что? Не безголосая же матрешка, она петь и плясать гораздая.

Колдует баба над куклой белою, а стихи сами собой рождаются.

Стою на краю, всех дешевле отдаю!

Старым задаром, молодым за так!

Это она к торговле готовится. Вот выставит красоту на поглядение, а как только покупательский люд остановится, тут же и заведет:

Подходите ближе, согинайтесь ниже!

Мать Матрена, дочь Алена, сынок Ерема!

Годок погодит, сынка Ванюшку родит!

VII

Вот так, сам не ведая, что происходит, указал Павлушка Грачев дорогу майданской кукле по всему белому свету. А что вы думаете? В Германии ее знают. Во Франции любят. В Австралии она стоит у людей на самом видном месте.

Недавно в Возесенском, а это в десяти верстах от Полх-Майдана, открыли настоящий музей матрешки. В нем и узнают люди, как менялась игрушка со временем. Здесь и модель старинной мастерской, она прожила в селе до 1961 года. В том году сюда пришло электричество, и отпала необходимость в большом колесе да овечьей кишке.

Красуются здесь полторы тысячи матрешек. Самыми знатными из них были и остаются куклы, изображающие девушек и женщин в русских сарафанах и платках, с расписными фартуками, в полушубках и в валенках, с корзинами и хлебом-солью.

Не налюбуешься, не наглядишься на жениха и невесту, на богатыря ра-
зудалого в боевом шлеме, на бояр и боярынь, на купчиху, пьющую чай из самовара, на девушку-крестьянку за прялкой.

А главная гордость здесь – пятидесятиместная матрешка. Если разложить ее в ряд, то первая матрешка будет со спичечную головку, а пятидесятая в высоту около метра. Такая кукла – большая редкость, а ее изготовление требует большого мастерства.

Это еще Игнат Грачев на Сибирке своим попутчикам рассказывал:

– Вот привезли к нам в Полх-Майдан диковинку: сказали, будто мы промысел открыли, деревянный, игрушечный, матрешечный. Эко напридумывали! Какой такой промысел, если Федька Сидоров, уж правда ли, нет ли, любовь свою к монахине Алене в матрешке изобразил, а народу по ндраву пришлось. Нет, здесь не промысел, тут умысел обозначается. С умом взялся человек за дело, умные люди его и подхватили…

Так вот до нынешнего дня и гуляют по белу свету веселые барышни в ярких, часто несуразных нарядах – алые розы по желтому полю. Прижились они в вознесенской стороне несколько веков назад. Не думали, не гадали, что навсегда. А поди ж ты – живут, здравствуют, веселят и радуют народ.

Да что я вам об этом все рассказываю? Будет возможность, отправляйтесь в Вознесенское. Сами увидите, какие мы, русские, талантливые.